ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО И ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОДХОДОВ В СОЦИАЛЬНОМ ПОЗНАНИИ

УДК 316.3

В. В. СКОРОБОГАЦКИЙ

1

Примечательная черта методологической ситуации, сложившейся в социальной теории, — отсутствие рефлексии над метатеоретическими основаниями социального знания. Формальный отказ от марксизма-ленинизма, в частности, от исторического материализма и связанных с ним постулатов идеологического характера сопровождался быстрым и беспорядочным импортом теоретического знания, чтобы заполнить внезапно образовавшийся теоретико-методологический вакуум. Выбор тех или иных концепций определялся во многом столь же формально заявленным либеральным выбором, политической конъюнктурой и ближайшими (актуальными) задачами в области экономических и политических реформ. Вместе с тем появление и широкая циркуляция новых идей и новых имен не приводили к каким-либо серьезным переменам в методологии социального познания. Замена одних имен и цитат новыми ничего не меняла по существу в самом способе мышления.

Марксистско-ленинская идеология на деле оказалась более сложным и жизнестойким системным образованием, чем это представлялось двадцать лет назад. То, что она утратила политические функции, в частности, функцию легитимации власти, еще не означало, что она исчерпала ресурсы глубинного воздействия на общественную жизнь. Одна из важнейших задач марксистско-ленинской идеологии заключалась в консервации теоретического языка, который сложился к середине XIX века под влиянием классической немецкой философии (диалектики Гегеля, в первую очередь) и так называемых великих открытий в естествознании, среди которых на первом месте стоит, несомненно, теория эволюции Дарвина. На этом языке были созданы основные произведения Маркса, только в пространстве этого языка его концепции и идеи сохраняли свое теоретическое значение и место в науке. Борьба с ревизией учения, борьба за чистоту Марксовых идей была, по сути, борьбой с ходом времени, с развитием социального знания, стороной и следствием которого (развития) было неизбежное обновление языка науки. Но по мере того, как идеология в ходе культурной революции 1930-х годов предопределила способ и структуру духовного производства в советском обществе, породив институциональную матрицу социалистической культуры и формирования «нового человека», она способствовала возникновению в сфере науки уникального формообразования — «культуры партийности». Последняя представляла собой разновидность гражданской религии, основанной на культе основоположников марксистского учения [1, с. 164–165]. Многоплановому влиянию культуры партийности подверглись все стороны науки — организация, система ценностей и жизненный мир ученого, основные установки и цели научного познания, характер научной коммуникации и междисциплинарных связей, методология и актуальная тематика исследований, а также процедура профессиональной оценки и общественного признания результатов. Пронизанная духом авторитарности, она придала аксиоматический характер системе принципов и базовых категорий марксизма, образовавших каркас картины мира. Применительно к социальному познанию этот категориальный каркас выполнял функцию его метаязыка и одновременно — метаметодологии.

Когда же в ходе перестройки и последующего устранения с политической сцены КПСС и ее идеологических институтов в повестку дня встал вопрос о необходимости кардинальных перемен в обществознании, оказалось, что на пути таких перемен стоит институциональный строй науки — не только ее формальная организация, но и складывавшиеся в течение многих десятилетий традиции; говоря шире, культура научной деятельности, включающая в себя «человеческий фактор» — мировоззренческие ориентиры и методологические установки научных коллективов и отдельных лиц. Прочность и влиятельность этих традиций обеспечили тот во многом неожиданный эффект, который со времен перестройки был известен как торможение — отрицательная реакция тех или иных социальных систем на ускоренный ритм перемен. Для объяснения таких эффектов Д. Норт использовал формулу: «история имеет значение» [2, с. 82].

Во многом именно эти попытки поверхностных, косметических перемен (имен и цитат), не затрагивающие глубинных основ теоретического языка и связанного с ним способа

мышления, придали переживаемой нами методологической ситуации фрагментарный, гетерогенный и во многом тупиковый характер. На наш взгляд, одной из причин того, что когнитивный комплекс, функционально замещающий «знание» в структурах социального (политического) действия, не отвечает своему назначению, является методологический «пробел» в структуре социального познания. Необходимо уточнить, что пробел не означает отсутствия методологии. Он указывает только на несоответствие методологии тому проблемному полю, в границах которого она используется. Критерием такого соответствия можно считать способность вновь вводимой методологии адаптировать к языку, доминирующему в этих границах, присущие ей подходы, принципы и нормы. Благодаря такой адаптации, во-первых, обеспечивается обновление не только рабочего инструментария методологии, но и самого ее духа, ценностных установок, а во-вторых, теоретический язык приобретает качество «речи» (рассматриваемой в контексте соссюровского противопоставления «языка» и «речи»). Именно в процессе превращения «языка» науки в «речь», в практику реального научного исследования складывается региональная версия той или иной научной дисциплины. В данном случае речь идет не о попытке обосновать возможность особой («суверенной») российской социальной теории, но о выявлении и институционализации тех особенностей в содержании и строении ее теории и методологии, которые связаны со спецификой объекта исследования, механизмов формирования «повестки дня» науки, национальной (культурной) ментальности ученых и находят выражение в терминах «научная традиция», «школа», «направление». В этом отношении наспех переведенные и плохо усвоенные импортированные концепции представляют собой суррогат знания, функционально используемый в социальном конструировании реальности, результаты которого, как показал опыт российских реформ, были обречены на неудачу.

Наличие такого методологического пробела свидетельствует о том, что роль метаметодологии по отношению к социальной науке, но уже в форме теоретического бессознательного, по-прежнему играет марксистско-ленинская идеология, рассматриваемая теперь не как определенная система взглядов, но как институционально закрепленный способ производства знания [3, с. 55]. В поле действия этой метаметодологии любые концепции получают вид «языка», оказываются принципиально дистанцированными от реальности; они являются к тому же когнитивным материалом, не пригодным для институциональных нововведений. К их числу можно отнести теорию демократического транзита, в свое время претендовавшую на роль основной объяснительной модели трансформации постсоветского общества. Неудачные итоги ее практического применения в ходе политических преобразований в 1990-е годы имели ряд далеко идущих следствий: они не только скомпрометировали идею демократии и породили в рядах образованного класса разочарование в либеральных ценностях, но и вызвали массовый отказ от либерального выбора в пользу авторитарного. Эта неудача способствовала скрытой реабилитации идеологии и относительному укреплению ее позиции в научном сообществе. Возможно, что, как и философская система его предтечи, Гегеля [4, с. 39–40], марксизм-ленинизм обладает уникальным свойством диалектически «снимать» в себе в качестве собственного момента любую противоположную точку зрения.

Методологический пробел, помимо указанного выше, характеризуется тенденцией к отрыву от контекста времени. Так, например, теоретическая слабость и политическая неэффективность критики государственного курса, направленного на воссоздание вертикально ориентированной, авторитарной модели политической организации общества, которую в годы перестройки публицистика заклеймила под именем административно-командной системы, как раз и обусловлены тем, что эта критика ведется либо с отсылкой к отжившему историческому опыту, либо с нормативных позиций идеальной демократии. В лучшем случае эти требования, даже если они соответствуют реальностям западных обществ, представляют для нас только возможный образ отдаленного будущего. Пикантность обсуждаемого здесь вопроса связана с тем, что аргументы исторического порядка предъявляются власти от лица общества, которое чем дальше, тем больше испытывает несомненную идиосинкразию к истории, опыту, памяти и, что не менее важно, — проекту. Пережив крушение коммунистической утопии, российское общество замкнулось во временных рамках настоящего, повседневности, порой совпадающей с бытом. Что же касается понятия идеального типа, в нашем случае — идеальной демократии, то оно только указывает на господствующую тенденцию, являясь ариадниной нитью в лабиринте истории, но не содержит ни гарантии достижения указанной цели, ни описания ведущего к ней маршрута.

Соответственно, и вопрос о направлении, в котором осуществляется это движение «от» тоталитаризма, отнюдь не является риторическим: «вперед» — это не единственный

ответ в нашей исторической ситуации. Будущее не программируется, оно становится в ходе социальной эволюции. В современной трактовке социальной эволюции отходит на дальний план, если вообще сохраняется, кардинальное ранее различие революционного и эволюционного как взрывного по характеру процесса, с одной стороны, и медленных, постепенных перемен, с другой. Эволюционные изменения в обществе могут носить обвальный характер: «Сам процесс напоминает падение снежного кома; по мере скатывания с горы он увеличивается в размерах. Было обнаружено, что существует взаимное усиление воздействия феноменов на все изучавшиеся эволюционные процессы. Здесь надо подчеркнуть, что взаимное усиление, возможно, и в самом деле действует в двух направлениях: где оно действует позитивно, организация имеет тенденцию к росту размеров и сложности; где его воздействие негативно, развитие, кажется, останавливается, причем политическая структура приходит в упадок или даже в состояние коллапса» [5, с. 8]. Именно поэтому модель социальной эволюции может быть использована для изучения трансформационных процессов, сходных по темпу и характеру динамики с революцией. Возможно, что это сходство, наряду с доставшимся в наследство от марксистско-ленинской теории исторического процесса шаблоном (принципиальным противопоставлением революции и эволюции), и провоцировало доминирование дискурса революционности в объяснении политической истории 1990-х гг.

Необходимо специально отметить два вывода, имеющих принципиальное значение для последующего изложения. Во-первых, тезис об альтернативных путях эволюции, который переводит старую дискуссию об одно- или многолинейном (многовариантном) характере процессов общественного развития в новую плоскость: отказ от линейных представлений о социальной эволюции и переход к образу нелинейного, многомерного пространства как поля социальной эволюции. «Имеет смысл говорить не о линиях эволюции, а о непрерывном эволюционном поле. При этом в рамках этого поля мы вовсе не наблюдаем такой ситуации, при которой движение в любом направлении возможно в равной степени. Движение в некоторых направлениях в его рамках оказывается в принципе невозможным, в то время как движение в одном направлении будет менее вероятным, чем в другом. Переход к более адекватному пониманию социоэволюционных процессов может быть достигнут, на наш взгляд, через отказ как от однолинейных, так и от многолинейных схем социальной эволюции и через последующую разработку ее нелинейных моделей» [6, с. 75]. Во-вторых, положение об особой хрупкости политических структур, их зависимости от направления эволюционного процесса и возможной деградации в результате попятного движения, упрощения и дегенерации культурного целого.

2

Социально-эволюционный подход в нашей методологической ситуации возникает как бы «вдруг» и в каких-то своих частных аспектах: синергетика, например, или неожиданно обнаруживающаяся специфическая окраска уже знакомых методов (например, интерпретация системного и семиотического подходов в русле историзма). Надо отметить, что «окно» для таких частных проникновений приоткрылось со времен «оттепели»; в немалой степени это обстоятельство подготовило почву для формирования такой специфической субкультуры послесталинской эпохи, альтернативной культуре партийности, как «шестидесятники». Принципиальная суть этого подхода затеняется к тому же дополнительными коннотациями, которые индуцированы смысловым контекстом классической теории эволюции и придают термину «социальная» значение имени прилагательного, то есть видового определения, частного по отношению к «эволюции» как родовому понятию, имени существительному.

Иными словами, наше обществознание, которое в течение целого периода времени освобождалось от идеологической цензуры и, что еще важнее, от самоцензуры, корпоративной и личной, лицом к лицу столкнулось с новой парадигмой социального познания. На эту роль сегодня претендует концепция социальной эволюции, вытесняя прежнюю марксистско-ленинскую парадигму, ключевым концептом которой была социальная революция. Эта концепция может укрепиться в своей роли, только будучи развернута в определенной совокупности подходов, как новых, органически связанных с нею (социокультурный подход, институциональный анализ, синергетика), так и давно известных подходов, переживших под ее воздействием второе рождение; может быть, в первую очередь, системного. Само появление в 1930–1960-е годы в западной социальной науке этих подходов — свидетельство длительного вызревания социально-эволюционной парадигмы. Этот процесс по известным причинам остался не замеченным марксистско-ленинской наукой, которая, впрочем, подвергала острой упреждающей критике ее отдельные проявления-симптомы, резко противоречившие теоретико-методологическим установкам советского

марксизма. К их числу можно отнести экономическую теорию Дж. М. Кейнса, социологию знания К. Манхейма, теорию социокультурной динамики П. А. Сорокина, анализ политических институтов М. Дюверже, структурную антропологию К. Леви-Строса, теорию нового индустриального общества и конвергенции Дж. Гэлбрейта, теорию деидеологизации Д. Белла и др.

Институциональный (неоинституциональный) подход содержит в себе ряд методологических возможностей, которые (1) раздвигают предметные границы теоретического пространства, открывая новые уровни и направления исследований, (2) вызывают структурную перестройку в обществознании, создавая условия для новых форм междисциплинарного синтеза, и, (3) будучи реализованными, могут привести к устранению методологического пробела в обществознании. Подобно квантовой теории в физике, институциональный анализ позволяет перейти в социальном познании от макро- к микроуровню и продолжить изучение явлений на нижележащих этажах их организации, снимая проблему «черных ящиков» [7, с. 6]. Микрофизическая модель власти М. Фуко демонстрирует результаты применения этого подхода к решению одной из самых сложных, комплексных по характеру проблем социальной науки. Благодаря смещению фокуса теоретического исследования «вглубь», его предметом становится человеческая повседневность, которая традиционно считалась заповедной территорией опытно-экспериментальных разработок.

Вместе с этим институциональный подход позволяет фиксировать изменения, происходящие в сравнительно короткие отрезки времени. Благодаря этому преодолевается ахиллесова пята классических эволюционных моделей, которые опирались, как на фундамент, на огромный массив эмпирического материала («Монблан фактов» — Ленин о «Капитале») и охватывали интервалы времени протяженностью в эпохи, оперируя периодами в тысячи, миллионы и миллиарды лет, в зависимости от научной дисциплины и типа исследуемых процессов (космология, геология, биология или история). Ретроспективный характер таких исследований делал практически неизбежным использование детерминистских представлений линейного типа, в значительной мере ограничивая возможности теоретического конструирования настоящего и ближайшего будущего. Более того, с позиции классического эволюционизма сама идея конструирования представлялась основанной на злоупотреблении разумом [8, с. 86–87]. В этом пункте наиболее отчетливо проявляется принципиальное различие между старым и новым институционализмом.

В первом случае утверждается, что в социальной эволюции доминирует непреднамеренное, вследствие чего она движима конкуренцией, которая представляет собой игру с нулевой суммой. Отсюда неизбежен вывод: «эволюция не может быть справедливой» [8, с. 130]. Тезис о ценностной нейтральности экономики удивительным образом совпадает с известным суждением Макиавелли о природе политики и служит подтверждением того, что подобные рассуждения рождаются в теоретическом пространстве предшествующей (новоевропейской) парадигмы социального познания. Более того, за этими высказываниями можно вычленить психологический подтекст кафкианского толка: «Требования, чтобы эти процессы были справедливы или обладали другими моральными качествами... вполне могут быть адресованы руководителям, регулирующим некий процесс посредством рационального контроля, или внимающему молитвам богу, но никоим образом не могут быть предъявлены безличному самоупорядочивающемуся процессу, происходящему в действительности» [8, с. 128]. С тем уточнением только, что описанный Кафкой в одноименном романе процесс является рациональной конструкцией — это порядок действий бюрократической машины, построенной людьми и функционирующей на основе твердо установленных, незыблемых рациональных принципов. Крайности сходятся, и точкой такого схождения, их общим прообразом является спинозовская модель субстанции как causa sui, составившая теоретико-методологическое ядро новоевропейской парадигмы.

Неоинституционализм отталкивается от другой трактовки роли целеполагания и знания в социальной эволюции. «В противоположность дарвиновской эволюционной теории, ключом к эволюционным изменениям человечества является интенциональность игроков. На механизмы отбора в эволюционной теории Дарвина не влияют представления о конечных результатах. Напротив, эволюция человеческого общества направляется представлениями игроков; выбор совершается в свете этих представлений с намерением добиться результатов, снижающих неопределенность, с которой сталкиваются организации — политические, экономические и социальные, — преследуя свои цели. Поэтому экономические изменения по большей части являются сознательным процессом, формируемым представлениями участников о последствиях деятельности. Источ-

ником этих представлений служит то, во что люди верят: теории, предсказывающие последствия их поступков и обычно неотделимые от их предпочтений» [2, с.8–9]. С нашей точки зрения, социальная эволюция является процессом, в структуре которого интегрированы два потока изменений, вызванных действием факторов природной среды в одном случае и социальной – во втором. Если предположить, что социальная эволюция направляется в основном природными (и природоподобными, стихийными) факторами, то выводы Хайека относительно расширенного порядка кажутся вполне обоснованными. Но с учетом того, что со времени промышленной революции возрастает влияние на эволюцию общества социальных факторов (науки, культурных ценностей и артефактов, систем информации), ее характер резко меняется. Это находит свое выражение в том, что конкуренция, не только экономическая, но политическая и социальная, выступает в виде игры с положительной суммой [2, с.100].

Повышение роли социальных факторов в эволюции общества позволяет вернуться к вопросу о месте, которое занимают в истории этические критерии и принципы. Негативный ответ Хайека на этот вопрос вытекает из установки на социальные системы, опирающейся на гоббсовский образ Левиафана. Левиафан – не гипербола, это, скорее, метафора, отсылающая к трансцендентному началу в основах расширенного порядка; составные части этого порядка – публичная и частная сферы: государство (политика) и рынок (экономика). «В английском и даже немецком языках не существует вполне подходящего слова, которое могло бы точно отразить специфику расширенного порядка... Единственно подходящим словом «трансцендентный» так злоупотребляли, что я не решаюсь использовать его. Буквально, однако, оно действительно означает то, что далеко выходит за пределы нашего понимания, желаний или намерений и нашего чувственного восприятия, нечто, объемлющее и порождающее такие знания, которых ни сознание отдельного индивида, ни какая-либо организация не могли бы ни охватить, ни выработать» [8, с. 127]. Дойдя до вывода о бесцельности морали, он истолковывает последнюю как специфически человеческую естественную (родовую) силу, обеспечивающую адаптивную пластичность человеческого рода в ходе истории, которая получает характер эволюции «по Дарвину». Применительно же к этой модели эволюции использование каких-либо этических принципов и оценок не имеет смысла.

Но есть и другое истолкование бесцельности морали. С точки зрения Канта, моральное (как и искусство, кстати) является формой целесообразного без цели и относится к числу трансцендентальных идей, выводящих человека за пределы естественно сложившегося порядка (механической причинности) в область свободы (целевой причинности). В этой области детерминирующую силу приобретают не любые человеческие цели, но только имеющие этическое основание. В данном аспекте моральное обозначает интервал между принятым и должным, реальным и идеальным и возможно только как результат выбора, который обязан совершить индивид. Отказ от выбора оставляет индивида в плену сложившегося механизма социального поведения, имеющего вид инстинкта. Инстинкт предпочтительнее разума с точки зрения жизненной (природной) целесообразности. Именно это имел в виду Кант: «Если бы в отношении существа, обладающего разумом и волей, истинной целью природы было сохранение его, его преуспеяние,– одним словом, его счастье, то она распорядилась бы очень плохо, возложив на его разум выполнение этого своего намерения. В самом деле, все поступки, какие ему следует совершать для этого, и все правила его поведения были бы предначертаны ему гораздо точнее инстинктом, и с помощью его можно было бы достигнуть указанной цели гораздо вернее, чем это было бы сделано при помощи разума» [9, с. 230]. Не о дилемме – успех или свобода – говорит Кант. В отличие от успеха, свобода не подлежит калькуляции, свобода – акт трансценденции, задающий времени импульс необратимости и открывающий выход в иной мир – в будущее. В этом плане трансценденция и история тождественны по своему смыслу.

В несовпадении между инстинктом и разумом, приспособлением и свободой проступает различие между биологической и социальной эволюцией. Социальная эволюция связана с изменением не природной среды (в этом аспекте человек – только один из биологических видов), а человеческой, причем не посредством промышленности, а различных социальных факторов. При этом задача приспособления человека к природе не утрачивает своей актуальности, только решается она намного эффективнее и не столь разрушительным для природы образом. В ходе становления новой парадигмы социального познания возникает потребность в категориальном оформлении специфики социальной эволюции, общее выражение которой связано с проблемой направленности, осевого времени истории. Ряд авторов настаивает на возвращении в научный оборот понятия прогресса: «через данное поня-

тие в нашу науку (пускай и в скрытом виде) продолжают проникать два очень важных понятия, табуированных в современной науке, пожалуй, в еще большей степени, чем слово «прогресс» ... Мы, употребляя соответствующие слова в академическом тексте, испытываем ощутимый дискомфорт. Понятия эти — добро и зло. И на наш взгляд, социальная наука, полностью отказавшаяся от изучения связанной с ними проблематики, в значительной степени теряет свой смысл, становится "стерильной"» [6, с. 25–26].

В рамках социально-эволюционной парадигмы этические категории фиксируют гуманитарное, культурно-антропологическое измерение истории, указывая ее, истории, смысловой предел, идеальную норму и целевую причину. Речь идет не о возвращении к телеологическим или антропоморфным моделям исторического процесса, не о сведении его к действиям великих, всемирно-исторических личностей, но о возможности нового представления социальных систем, возникающего в русле синергетики. Это открытые системы со смещенным, блуждающим центром, для которых — в противоположность закрытым и стационарным системам — характерны неравновесные состояния и новый тип структуры и иерархии. Такие системы обладают свойством быть одновременно автономной (себетождественной) и не тождественной себе (в качестве частей других целостностей). Ю. М. Лотман называл эти системы семиотическими монадами, подчеркивая определенное сходство их поведения с поведением личности. «Сохраняя определенную осторожность, можно утверждать параллель между семиотическими монадами и понятием личности, поскольку и им присуща в определенной мере автономность поведения. [...] Монада, которая как часть подчиняется строгим законам детерминации, как целое, как «личность» обладает возможностью выбора и определенным запасом непредсказуемости... Чем сложнее организована монада, тем автономнее ее поведение, тем более непредсказуемости она вносит в систему в целом. Такая организация обладает огромной информационной емкостью и фактически неограниченными возможностями саморазвития» [10, с. 645].

Этические категории не следует воспринимать как нечто привнесенное в предмет научного исследования, как субъективный «привесок», имеющий прагматическое или идеологическое назначение. В рамках новой парадигмы социального познания этическое — неотъемлемая часть действительности, онтологическая структура, значимая в анализе не меньше, чем экономические, финансовые, политические и социальные факторы. Более того, этическое составляет контекст социокультурной динамики власти, благодаря которому из силы угнетения и господства она превращается в культуротворческую силу бытия, динамическое основание цивилизации [11, с. 22]. Социокультурная динамика власти образует внутренний план исторического процесса и придает ему гуманитарную направленность: в этом аспекте человек является движущей целью истории, а ее основная интенция связана с обретением человеком прав и свобод. Гуманизация, очеловечивание истории — тенденция, суть которой не в возвеличении человека, провозглашенном Возрождением, а в возрастающем сходстве поведения открытых социальных систем с поведением человека. Спонтанность, целостность, автономность, свобода, динамичность, целевая причинность, индивидуальность, самоорганизация и самоуправление — таков далеко не полный набор категорий, которые (1) характеризуют как «человекоподобное» поведение открытых социальных систем и (2) раскрывают специфические черты социальной эволюции в современном обществе, кардинально отличающие ее от эволюционных процессов не только в природе, но и в традиционных и индустриальных обществах.

1. Гордон А. В. Культура партийности и советский опыт историознания//Россия и современный мир. 2009, № 3. С. 160–180.
2. Норт Д. Понимание процесса экономических перемен. М. : ГУ-ВШЭ, 2010. – 256 с.
3. Скоробогацкий В. В. По ту сторону марксизма. Свердловск : УрГУ, 1991. – 270 с.
4. Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. М. : Логос, Прогресс-Традиция. 1998. – 208 с.
5. Классен Х.Дж. М. Проблемы, парадоксы и перспективы эволюционизма // Альтернативные пути цивилизации. М. : Логос, 2000. – С. 6–23.
6. Коротаев А. В., Крадин Н. Н., Лынша В. А. Альтернативы социальной эволюции (вводные замечания) // Альтернативные пути цивилизации. М. : Логос. 2000. – С. 24–83.
7. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория. М. : ИНФРА-М. 2005. – 416 с.
8. Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М. : Новости, 1992. – 304 с.
9. Кант И. Основание метафизики нравов // Лекции по этике. М. : Республика, 2005. – С. 223–282.
10. Лотман Ю. М. Культура как субъект и сама-себе-объект // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб. : Искусство-СПб. 2001. – С. 639–647.
11. Скоробогацкий В. В. Общество и власть в эпоху перемен. Екатеринбург : УрАГС, 2007. – 136 с.